

Н.К. Рерих. 1895 г.

Часть II.

МАСТЕРСКАЯ КУИНДЖИ

«Старая академия кончилась. Пришли новые профессора. Встала задача: к кому попасть – к Репину или к Куинджи?»

Репин расхвалил этюды, но он вообще не скупился на похвалы. Воропанов предложил: «Пойдём лучше к Куинджи». Пошли. Посмотрел сурово: «Принесите работы». Жили мы близко – против Николаевского моста, - сейчас и притащили всё, что было. Смотрел, молчал... Что-то будет? Потом обернулся к служителю Некрасову, показал на меня и отрезал коротко: «Это вот они в мастерскую ходят будут». Только и всего. Один из самых важных шагов совершился прощепрого».

Из воспоминаний Н.К. Рериха. 1937 г.

Из студенческого дневника Н.К. Рериха.

30 октября 1895 г.

30.X. 95. Большие события! Я в мастерской Куинджи. За рис. I разряд. Мои эскизы висят среди работ учен[иков] мастерских. По поводу иллюстраций к Университетскому сборнику Сыромятников говорит сегодня: Вы большой художник! Жаль я вас раньше не знал. Мне Бакст хуже иллюстрировал. Отчего вас никто не знает? Чудно, очень хорошо!

К Архипу Ивановичу я попал через Г. Воропанова. Потაცил меня Глеб к нему. Эскизы понравились и я в мастерской.



В мастерской А.И. Куинджи. 1895 г.

«Куинджи научил меня искать достижений в непосредственности, в повелительном трепете сердца, зовущего к созиданию».

Н.К. Рерих, «Твердыня Пламенная».

Из воспоминаний (1908 г.)...

МАСТЕРСКАЯ КУИНДЖИ

На днях начнётся пересмотр устава Академии.

Из времён школьных вспоминаю об уставе и о людях, его державших.

Не будем только обвинять устав. Правда, вредны дипломы, вредны катедры, вредны квартиры, вредно всё, что не относится до искусства. Но в живых руках оживала и мёртвая буква. Всё пребывание в Академии объединяется во мне в воспоминании о А. И. Куинджи, о его мастерской. В этом яркий пример того, что живое дело может быть двигательно лишь живым человеком. Куинджи был слишком живым для академической среды, и Академия не могла дорасти до его широких взглядов на искусство. Широких — несмотря на всю его требовательность. Эта требовательность, конечно, — не что иное, как следствие горячей любви.

На пространстве 12 лет деятельность Куинджи была единственно яркою точкою из всей жизни Академии. Он начал светлое дело, он верил в него, он зажигал верою своею его окружавших, и ему не пришлось довести его начинания до конца. Ему не довелось высказаться. Никогда так широко, так светло не обсуждал Архип Иванович художественные явления, как во время своего руководства в Академии. Видно было, что он именно верил в дело и временно поверил в людей.

Из двух десятков учеников мастерской А. И. Куинджи теперь многие разбрелись по далёким углам; многих жизнь оторвала от товарищей, но при всякой встрече в радостном возгласе чувствуется воспоминание о жизни в мастерской А. И.

Профессор, оплаченный государством, исчезал во время занятий в мастерской Куинджи.

Оживал мастер-художник далёкой старины, и ученики были для него не случайными последствиями деятельности наставника, а близкими ему существами, которым он всем сердцем желал лучших достижений. Кто же ещё из профессоров подумал съездить с учениками на этюды? Кто, из желания расширить знания учеников, организовал обширную поездку за границу? Куинджи знал, что нужно для художников и, забывая работу свою, стремился дать ученикам своим всякое оружие для будущей жизни.

Действительно, как в старинной мастерской, где вне рассуждений о кокарде учили действительно жизненному искусству, ученики в мастерской Куинджи знали только своего учителя; знали, что ради искусства он отстоит их на всех путях; знали, что учитель их ближайший друг и сами хотели быть его друзьями. Канцелярская сторона не существовала для мастерской. Что было нужно, то и делалось. Кому нужно было работать, тому находилось и место.

Нужны были средства - являлись и средства. Нужна была вера в себя - являлась и эта вера, и чувствовали, что приготавливались к очень важному будущему делу.

Всякий, бывавший в мастерской Куинджи, помнит, из каких разнородных по существу людей, естественно, мастерская была составлена. И Куинджи сумел рассказать им всем о радости искусства, и только в этом секрет единогласия, царившего в мастерской. Не деспотизмом, но великою силою убеждения мог связывать в одно целое Куинджи учеников. Повторяю, если после многих жизненных волн будут встречаться бывшие ученики Куинджи, и если при встрече будут чувствовать, что в душе подымается что-то хорошее и радостное, то это именно следствие работы А. И.

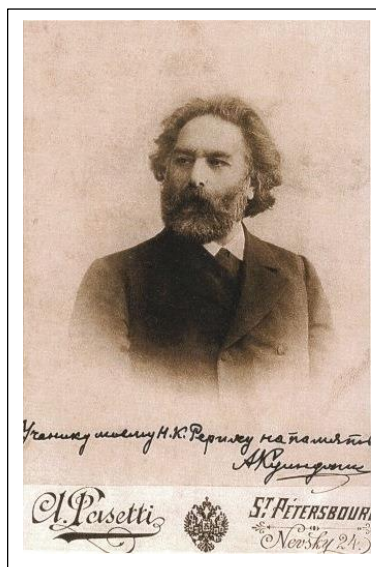
Куинджи учил искусству, но и учил жизни. Он не мог представить, чтобы около искусства могли стоять люди непорядочные. Искусство и жизнь связываются в убеждении его как нужное, глубокое, хорошее, красивое.

Одно качество трудов Архипа Ивановича, по-моему, до сих пор не оценено. Это - замечательное бескорыстие его работы. Художник, имевший успех особенный; художник - работающий и с обеспеченным успехом в будущем, Куинджи всё время отдаёт другим. Он хочет помочь во всякой нужде и творческой, и материальной; он болеет, он сердится, он негодует, если видит, что где-то что-нибудь выходит не так хорошо, как должно бы быть. Он хочет, чтобы искусство и всё до него относящееся было бодрым и сильным. Он мучается, если жизнь отодвигает искусство на далёкие места. В этом желании успехов искусства, в стремлении помочь делу, вне всяких личных отношений — замечательное свидетельство бескорыстия.

В этом большом художнике и большом человеке — всё моё представление о «новой» Академии. После его ухода, после 1897 года я мало знаю об этом учреждении. Знаю, что в нём горят огни; знаю, что ученики всё чем-то недовольны; знаю, что избирается очень много комиссий; знаю, что профессорствующие ссорятся, но какое именно место отведено в Академии художеств искусству — неизвестно.

Очень терпеливый И. И. Толстой - не выдержал и временно отошёл от Академии; Репин наконец-то не выдержал; Серов, Нестеров, Суриков, Поленов, Малявин отказались вступать в Академию. Испугались ли они только книжечки устава или людей? Если устав омертвил людей, надо убрать устав. Если люди омертвили устав, то надо людей убрать. Справедливый должен прийти и помочь бедному «свободному» искусству. Справедливый должен понять, что без любви, без ярких дел, без смелых выступлений - вера мертва. Академия стремительно ведёт дело, чтобы уничтожить значение и веру искусства. Если посмотрите на сумятицу наших выставок, то поверите, что Академия в этом отношении не дремлет. Мертвить или оживлять призваны люди в Академию?

Слово. 1908. 9/22 апреля. № 427. С. 5.



ГУРУ - УЧИТЕЛЬ

Однажды в Финляндии я сидел на берегу Ладожского озера с крестьянским мальчиком. Человек среднего роста прошёл мимо нас, и мой маленький компаньон встал и с великой почтительностью снял свою шапку. Я спросил его после: "Кто был этот мужчина?" И с особой серьёзностью мальчик ответил: "Это учитель из соседней школы". "Ты знаешь его лично?" - настаивал я. - "Нет, - ответил он с удивлением... "Тогда почему ты приветствовал его так почтительно?" Ещё более серьёзно мой маленький компаньон ответил: "Потому, что он Учитель".

Почти аналогичный случай произошёл со мной на берегу Рейна около Кёльна. Снова с радостным изумлением я увидел, как один молодой человек приветствовал школьного учителя. Я вспоминаю в самых возвышенных словах о моём учителе, профессоре Куинджи, знаменитом русском художнике. История его жизни могла бы заполнить самые вдохновенные страницы биографии для молодого поколения. Он был простым пастушкой в Крыму. Только последовательным, страстным стремлением к искусству он был способен победить все препятствия и, наконец, стать не только уважаемым художником и человеком великих возможностей, но также настоящим Гуру для своих учеников в его высоком индусском понятии.

Три раза он пытался поступить в Императорскую Академию Художеств, и три раза ему отказывали. В третий раз 29 студентов были приняты, и ни один из них не оставил своего имени в истории искусства. И только одному, Куинджи, было отказано - Совет Академии не состоял из Гуру и, конечно, был недальновидным. Но юноша был настойчив, и вместо бесполезных попыток он написал пейзаж и подарил его Академии на выставку и получил две награды без сдачи экзаменов. Он работал с раннего утра. Но после обеда взбирался на ступенчатую крышу своего дома в Петрограде, где каждый полдень тысячи птиц слетались к нему. И он кормил их, разговаривая с ними, как любящий отец, изучал их. Иногда, очень редко, он приглашал нас, своих учеников, на эту знаменитую крышу, и мы слушали замечательные истории о личностях птиц, об их индивидуальных привычках и о том, как к ним приблизиться. В эти

мгновения этот невысокий, крепко сложенный человек с львиной головой становился таким же мягким, как святой Франциск. Однажды я видел его очень удручённым в течение целого дня. Одна из его любимых бабочек поломала своё крыло, и он придумал искусный способ поправить его, но его изобретение было слишком тяжёлым, и благородную попытку постигла неудача.

Но с учениками и художниками он знал, как быть твёрдым. Очень часто он повторял: "Если вы художник, даже в тюрьме вы должны остаться художником". Однажды в его студию пришёл человек с очень красивыми эскизами и набросками. Куинджи похвалил их. Но человек сказал: "Но я несчастлив, потому что не могу продолжать писать картины" "Почему?" - участливо спросил Куинджи. И человек сказал, что ему надо кормить семью, и он работает с десяти до шести. Тогда Куинджи спросил его резко: "А с четырёх до десяти что вы делаете?" "Когда?" - спросил человек. Куинджи объяснил: "Конечно, утром". "Утром я сплю", - ответил человек. Куинджи возвысил голос и сказал: "Ну тогда вы проспите всю свою жизнь. Разве вы не знаете, что с четырёх до девяти самое лучшее творческое время и не обязательно работать над вашим искусством более пяти часов в день". Потом Куинджи добавил: "Когда я работал ретушёром в фотостудии, у меня тоже была работа с десяти до шести. Но с четырёх до девяти у меня было достаточно времени, чтобы стать художником".

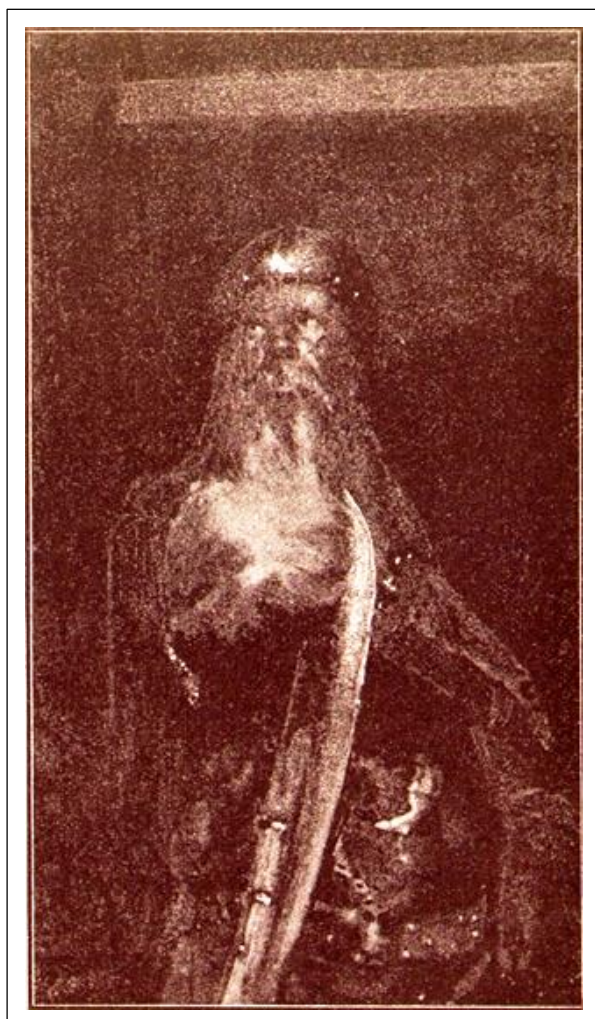
Иногда, когда ученик мечтал о каких-то особых условиях для работы, Куинджи смеялся: "Ну, если вы так нежны, что вас надо поставить в стеклянный футляр, то лучше умереть как можно скорее, потому что наша жизнь не нуждается в таких экзотических растениях". Когда же он видел, что ученик преодолел обстоятельства и прошёл победно через океан земных бурь, то глаза его сверкали, и он громко заявлял: "Ни солнце, ни мороз не смогут уничтожить вас. Именно это и есть путь. Если у вас есть, что сказать, вы сможете выполнить своё предназначение, несмотря ни на какие препятствия в мире".

Я вспоминаю, как он пришёл в мою студию на шестом этаже, которая в это время была без лифта, и сурово раскритиковал мою картину. Таким образом, он практически не оставил ничего от моей первоначальной идеи и в большом волнении ушёл. Не менее чем через полчаса я снова услышал его тяжёлые шаги, и он постучал в дверь. Он снова поднялся по длинной лестнице в своей тяжёлой шубе и, задыхаясь, сказал: "Ну, я надеюсь, что вы не примете всё, что я сказал, всерьёз. Каждый может иметь свою точку зрения. Я почувствовал себя скверно, когда понял, что вы, вероятно, приняли слишком серьёзно весь наш разговор. Цель достигается разными путями, и действительно истина - бесконечна". А иногда в величайшем секрете он доверял одному из своих учеников анонимно передать от него деньги каким-нибудь бедным студентам. И доверял только тогда, когда был полностью уверен, что секрет не будет раскрыт.

Однажды случилось так, что в Академии поднялся бунт против вице-президента Совета Толстого, и поскольку никто не мог успокоить гнев студентов, положение стало серьёзным. Наконец, на общее собрание пришёл Куинджи, и все затихли. Тогда он сказал: "Ладно, я не судья. Я не знаю справедливо ли ваше дело или нет, но я лично прошу вас начать работу, потому что вы пришли сюда стать художниками". Митинг закончился немедленно, и все вернулись в классы, потому что об этом просил сам Куинджи.

Вот таким был авторитет Гуру. ...

Н.К. Перух. 1930 г.



Н.К. Рерих. «В Греках» (Варяг). 1895.
(Фотография с картины Н.К. Рериха. ОР ГТГ, ф. 44/1726.)

ХРОНИКА

Выставка ученических работ в залах Императорской Академии Художеств

... Несмотря на то, что г. Куинджи прославился как пейзажист, к нему охотно идут жанристы; из таковых особенно заметен г. Рерих.

Его этюд «В Греках» очень характерен; перед вами, гордо опираясь на секиру, с изуродованным шрамом лицом, в кольчуге и шишаке, стоит один из наших отдалённых предков, не раз в своих утлых челнах навещавших Византию и наводивших страх на властителей Константинополя. Его эскиз - «Иван царевич у избушки» - слабее.

Судя по этой выставке, дело Высшего училища идёт на лад, и академическая реформа в этом отношении уже сказывается...

Новое время. 1895. 10/22 Ноября. № 7077.

Из студенческого дневника Н. Рериха:

16 ноября 1895 г.

16. XI. 95. Работаю в мастерской и недурно. Теперь многие встречаются и относятся благосклоннее после нововременского отзыва о «В Греках». С натурным классом отношения порваны – заходил туда, а там, словно волки глядят. Мы скоро так поставим нашу мастерскую, что из других будут приходить смотреть, теперь с Глебом орудуем. Архип Иванович простудился, кормил птиц и просквозило. Любопытно! он приучил воробьёв, голубей, галок летать к нему – и кормит. Так его уже они знают, как видят сквозь окно, и летят сейчас.

В Университете мало бываю. Сочинение двигается плохо. Заходит в нашу мастерскую Кузнецов преемник Кившенко, держится просто, симпатично.

21 ноября 1895 г.

21. XI. Кривенко купил «В Греках». Чёрт возьми! Совсем особое чувство, когда подходят и спрашивают, продаётся ли вещь. Говорят, я сильно продешевил его, но не в том дело.

22 ноября 1895 г.

22. XI. А и жесток же этот человек Скалон! Сегодня встречаю его в классе, здороваюсь, а он только руку подаёт, и ни слова, и то нехотя. Потом мне объяснили, что ему хочется в мастерскую перейти, а на последнем экзамене III-и разряды. И он завидует! Обидно, ей Богу завидно. А я ещё считал его так долго порядочным человеком. И в классах толкует, что я перешёл не по праву, не-симпатично.

Экий чудак! Да если работы хороши, то снеси их профессору и его примет. Один Глебушко у меня остался. Он всё понимает. Пусть будет *una fides*¹.

Отдел рукописей ГТГ, ф. 44/11, 4 л.

¹ *Unus Dominus, una fides* (лат.) - «Единое тело. один дух» (Библия) – ред.

ДЕКАБРЬ

Из архива Н.К. Рериха:

В НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО

(Уж давно былъем пор[осло])

Никакого нет дела машине, что завтра праздник, знай себе, отдувается; неустанно дребезжат пепельницы и фонари по углам вагона, наводя скуку и ещё яснее представляя контраст со всеобщей радостью. Что же закинуло меня в эту скучную для такой ночи обстановку? Дела, государи мои, дела... Это они вырвали меня из уютной комнаты, погнали на вокзал, втиснули в угол пыльного дивана, лишили возможности видеть вокруг милые, дорогие лица.

Какое это широкое слово “дела”! Впрочем, это уже философия; лучше буду пресекать её в начале, а то человек в одиночестве чересчур уж склонен к ней.

Я сказал в “одиночестве”, а между тем, в этом отделении вагона были ещё подобные мне странники. За проходом поместились два пассажира неизвестной наружности, а против меня расположился толстяк лесничий, сразу, почему-то, наведший меня на мысль о лешем. Сопутники неизвестной наружности (таких людей художники любят изображать силуэтами) сейчас же замолкли, только бархатными носовыми звуками изредка напоминая о своём присутствии; леший же, видимо, желал вступить со мной в разговор и уже несколько времени терзался выбором подходящего предложения для знакомства.

Наконец, он нашёл, по его мнению, достаточно приличный повод и, крикнув, осведомился “не немец ли я?” Получив отрицательный ответ, он начал излагать мне подробно, которая именно часть моего тела навела его на эту мысль; виновными оказались нос, губы и борода, и отчасти лоб.

Но вскоре я принуждён был лишиться себя приятного разговора; - лесничий имел дурную привычку при разговоре приближать свою физиономию к моей на неизмеримо близкое расстояние, причём испускал какой-то такой скверный запах, что мне оставалось только уткнуть нос в воротник и изобразить спящего. (Не знаю, этот запах, был ли его индивидуальной способностью, или присущ всем лешим). Таким образом, ему, после рассказа о своей поездке в город и о том, как он отдал начальнику ногу, оставалось только неодобрительно гыкнуть и отомстить мне необыкновенно шумным храпением.

Мне не спалось; - безобразно пёстрою лентою тянулись по голове думы, и не раз я сетовал про себя на одно маленькое создание, тоже ехавшее в этом поезде. Дело в том, что, когда я вошёл в вагон, мне бросилась в глаза фигура моего сослуживца, энергично чего-то хлопотавшего. Мы оба, что называется, ухватились друг за друга и руками и зубами; я – думая найти в нём приятного спутника, а он за меня по совсем другой причине. Ухватив меня за пуговицу, он торопливо начал шептать мне: “видишь, голубчик, я провожаю мою супругу, Евгению Константиновну, к родным в имение на праздники (у меня при этом мелькнула мысль о милой моей спутнице), так вот, я хотел просить тебя не оставить её, ну, помочь ей, коли понадобится, (мысль, мелькнувшая, окрепла), потому, видишь, с ней ребёнок, (мысль моя исчезла), 3-х месячный, (я уже проклинал встречу, представляя нечистоплотность малютки, пелёнки, слюнявники и всякое такое). Я их тут устроил в отдельном купе, (у меня отлегло от сердца), чтобы им спокойно спать было. Пойди, поздоровайся”.

Я пошёл, и был свидетелем долгой сцены прощанья нежных супругов, любовался, как мой приятель сдвигал скамейки, устилал их пледом, доставал подушки и, наконец, предложил душеньке сейчас лечь почитать, на что она и согласилась. Вот мы уложили мать и дитю спать, покрыли лисьей ротондой и, при пожелании всех благ, удалились.

Ещё, уходя, мой приятель предварил, что, если душечке жене понадобится какая-нибудь услуга, то она пусть отодвинет дверку, (дверь была отдвижная), и спросит у Павла Петровича (т.е. у меня), что ей нужно.

Вот на существование этого 3-х месячного дитяти я и сетовал. Мало-помалу на меня опять нашло минорное настроение; с помощью рта и полы шубы довёл я стекло до состояния прозрачности и, припав к нему, старался разглядеть окружающее. Тёмной серой полосой тянулась снежная равнина, местами подле полотна чернел куст или перелесок, где-то вдали светилась хатка и больше ничего нельзя было разобрать.

Я откинулся вглубь дивана и задумался. Настоящие обстоятельства навели меня на мысли, почему вот мои знакомые могут провести эту ночь в своём семействе, а я должен сидеть в вагоне, чем они лучше меня, почему перед их глазами пылает теперь ёлка, а передо мной насмешливо мигает заплывшая свеча и много разных других дум наполнили мою голову; были тут и такие, от которых щемило горло, были и такие, что заставляли невольно улыбнуться. Понемногу более серьёзные, глубокие думы сменились обыденными; вспомнились мне разные ёлки; вот блестит елка в гимназии, давно это было, а теперь вон я маленьким карапузиком бегаю в зале у Дедушки; вижу его седую бороду; он смеётся, одевает меня в бумажный костюм охотника... Я бегаю вокруг елки, срываю игрушки... Наконец, на меня валится свечка, вспыхивает охотничья шапочка, слышится запах горелых волос... смрад... кто-то хватает меня... кричит...

Я начинаю уже явственно разбирать голос, взывающий ко мне, кто-то трясёт меня за руку и говорит: “нуте-ка, нюхните! ну те-ка, нюхните!” и с этим обдаёт меня каким-то зловонием. Как нарочно, лежать ловко – и не встал бы. Но усилиями лесничего подымаюсь и тяну в себя воздух – повсюду разносится тот самый запах горелых волос, который я слышал во сне. Сон мигом, как рукой сняло – я чувствовал опасность и не знал, где она.

Живо с лесничим осмотрели мы все отделения и ничего не нашли. Между тем, смрад вс усиливался. Откуда? Где же горит? - спрашивали мы друг друга. В вагоне всё было исследовано, оставалось только купе, где спала жена моего сослуживца, но так как оттуда не требовали моей помощи, то, очевидно, всё было в порядке. Спутники мои приступили ко мне с требованием осмотреть купе, так что, после сильных нареканий, я согласился на это. Подойдя к купе я заметил, что запах усиливается, и едва я успел отодвинуть дверь, как острый смрад горелого меха и шерсти ударил мне в голову и положительно отбросил в коридор.

Я перестал размышлять, инстинктивно, прямо сквозь дым и огонь, через что-то мягкое, бросился я и со всей силы хватил локтем по окну. С лязгом и звоном разлетелись двойные стёкла и, поверх синеватого смрадного дыма, в вагон ворвался клуб морозного воздуха. Что было дальше, я не помню...

Я что-то хватаю, горло и грудь наполняются едким дымом... внутри жжёт и кусает... голова кружится... рукам горячо...

Что я делал и зачем я не знаю. Почему я выпихнул горящую ротонду за окно? Кто меня надоумил? Кто руководил мною? – я не знаю. Лишь когда свежий воздух пересилил смрад, я начал приходить в себя.

Поперёк дивана лежала в беспмятстве моя знакомая, ребёнок без признаков жизни, со страдальческим лицом уткнулся в углу. Кое-где ещё тлело платье, ещё дым синеватыми струйками подымался, но, очевидно, опасность миновала. До сих пор, не знаю почему, я поступил именно таким образом, а не иначе; также не знаю, сколько времени происходило всё это.

В разбитое окно замелькали фонари – мы подходили к станции. Конечно, сейчас же появилось всё начальство: начальник станции, обер, жандарм, кондуктора; откуда-то вынырнул доктор. Началось следствие... Даму кое-как привели в чувство... писали протокол, что такого-то числа в отдельном купе вагона 1-го класса поезда, под номером таким-то, от вывалившейся из фонаря свечи на жене надворного советника такого-то, Евгении Константиновне Тарантиной, вспыхнула ротонда, лисья с бархатным верхом, стоимостью... ну и т.д., словом, всё пошло чин чином.

Со всех сторон высывались самые странные физиономии, кто-то мне жал руку и искренно поздравлял с чем-то. Но с меня было довольно; я даже не принимал участия в уходе за пострадавшими, предоставив это доктору – благо, он тоже ехал в этом поезде. Мне лишь хотелось покоя, хотелось усесться попокойнее и отдохнуть.

Тарантину перевели в другое купе; доктор поместился с нею. Опять застучал поезд – в вагонах водворилось прежнее спокойствие. Через минуту голова моя бессильно опустилась на спинку дивана и я заснул. За эти 3, 4 часа глубокого сна силы мои вполне восстановились. Открыв глаза, я увидел доктора, который поздравил меня с праздником и сообщил, что его пациенты уснули.

Уже светало; после долгих усилий над стеклом, мне удалось рассмотреть окрестность. Поезд шёл мимо потонувшей под снегом деревушки. Синий туман окутывал причудливые зубцы дальнего леса. Наконец, огненная, кровавая полоса прорвала эту завесу, разрослась, вспыхнула, бросила на снег багровый оттенок – возвестила восход нарядного, праздничного солнца, что, будто раскалённый шар, выплыло из-за леса. Всё раскраснелось: и снег, и стволы берёзок, и даже – черные избёнки, словно алой вуалью приубрались. Равнина заискрилась, заиграла – всё веселится, всё ликует.

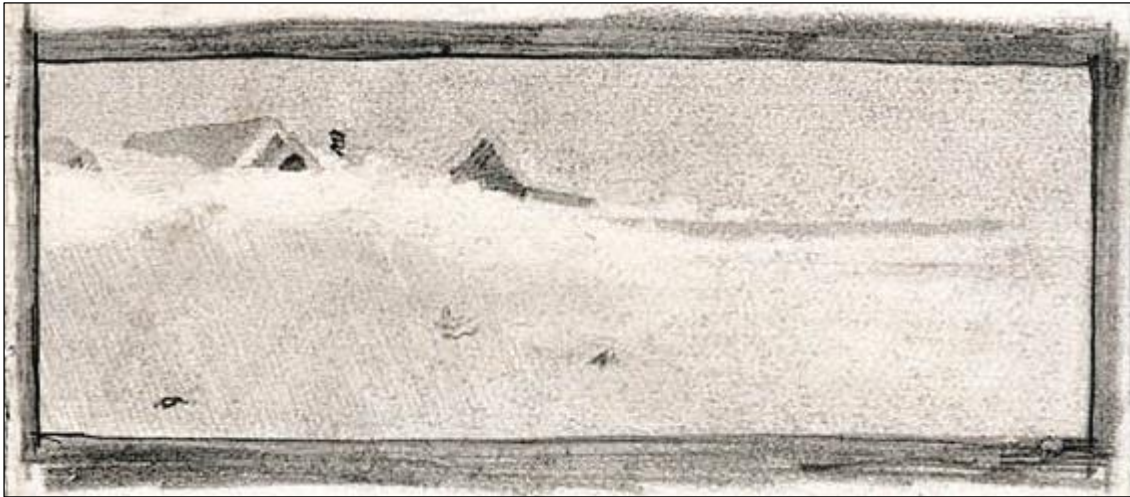
Глядя на очаровательную картину, мне представилось, что если бы я был дома, то, наверно, теперь спал бы, и не видал всего этого. Да, спал, и не мог бы спасти человека из опасности. Не знаю, что было бы мне приятнее – просидеть дома перед ёлкой, или иметь случай оказать услугу знакомому человеку. (Тарантина скоро поправилась, а ребёнок не перенёс этой передраги).

Все мрачные думы ночные, как рукой сняло. На узорах замёрзшего окна, весело <отливалось...> солнце. Пепельницы и фонари своими крышками и дверцами выбивали какие-то веселые мотивы. Кругом пассажиры поздравляли друг друга с праздником.

Н.К. Перих

Отдел рукописей ГТГ, ф. 44/62, лл. 1-4.

*«Поезд шёл мимо потонувшей под снегом деревушки.
Синий туман окутывал причудливые зубцы дальнего ле-
са...»*



Н.К. Рерих. Зимний пейзаж. 1896. Рисунок.



Н.К. Рерих. Зимний пейзаж. 1896. Иллюстрация к Литературному сборнику.